

Я НАЧНУ с топографии дачных участков, где в Переделкине по соседству друг с другом жило трое писателей. Мой отец Всеволод Иванов и моя мама Тамара Владимировна Иванова (позднее с помощью Фадеева ставшая профессиональным переводчиком французских авторов) поселились в Городке писателей первыми. Два года спустя Борис Пастернак переселился на дачу (теперь там его музей) между нашей и фединской после ареста Бориса Пильняка — друга, рядом с которым до этого он жил на другой даче. Появление возле нас Александра Фадеева тоже было следствием сталинского террора: он занял большую дачу и огромный участок (с баней, куда приглашал моего отца, и другими угодьями) Зазубрина, когда того посадили. Поросшие густым лесом задворки нашего участка были связаны калитками с двумя соседними — мимо нас от дачи Фадеева можно было пройти к пастернаковской.

Было время, когда все три писателя этой возможностью общения пользовались, но чаще всего встречались все дома у нас на званных вечерах. Так было не всегда. Историю их дружбы и ссор я попытаюсь обрисовать очень коротко. Все трое были друг с другом на "ты", как, впрочем, и многие писатели того поколения, объединенные молодостью литературы двадцатых годов и тогдашними застоями и бродершафтами. Со времен моего раннего детства сохранялась долго в легенде, много раз слышанной мной от домашних, память об одной писательской попойке (иначе не назовешь, моя мама потом объясняла, что за закуской, которую доставляли с трудом и долго, ездили с таким промедлением, что водка тем временем была выпита). Отец, работавший тогда вместе с Фадеевым в редколлегии журнала "Красная новь", вместе с моей мамой задумал позвать к себе домой и "попутчиков", к числу которых его причисляли, и их идейных недоброжелателей — друзей Фадеева по РАППу. Встреча, устроенная в надежде на примирение противников, неожиданно кончилась кровопролитием. Выпив, Фадеев обычно предлагал событиям померяться силами. В этот раз с ним стал бороться Пастернак. Он одержал победу, но ненароком ранил Фадеева, кажется, обломком сломавшегося стула. Часть захмелевших литераторов перепугалась, кто-то из известных авторов, спасаясь неизвестно от чего, заперся в уборной. Это, казалось бы, смешное происшествие было символической прелюдией к нештотным раздорам, оборвавшим дружбу героев моего рассказа с Фадеевым.

Но настоящий разрыв Пастернака с Фадеевым произошел гораздо позднее. После войны они не встречались. Тем не менее в конце 40-х годов Пастернаку оказалось нужным заручиться содействием Фадеева в напечатании его переводов отдельной книгой. Он попросил мою маму быть посредницей. Я присутствовал при том, как Пастернак выслушал у нас дома переданный мамой ответ Фадеева. В качестве условия Фадеев потребовал, чтобы Пастернак отмежевался от тех в русской эмиграции, кто о нем пишет сочувственно. Тот отказался решительно. Возвращая первоначальный смысл слову *отмежеваться* и переходя к своей нарочито простонародной грамматике, он сказал: "Пусть меня лучше посадят. Я не знаю, где эта межа. А все, что я мог бы сказать об эмиграции, давно хорошо сказано Ахматовой". И прочитал нам наизусть ее стихотворение "Не с теми я, кто бросил землю..." (то было время большой дружбы Пастернака с Ахматовой, на которую многие официальные деятели, в том числе и Фадеев, набросились после постановления, юбилей которого будет в августе).

Несколько лет спустя, уже после смерти Сталина, я стал свидетелем другой

неудачной попытки мамы повлиять на отношение Фадеева к печатанию текстов Пастернака. Фадеев зашел по-добрососедски посидеть у нас вечером. Мама заговорила о том, что Пастернак страдает, потому что его по-прежнему не печатают, и попросила меня прочитать что-нибудь из новых его стихов, которые я запомнил со слуха. Выслушав "Белую ночь" ("Мне далекое время мерещится..."), Фадеев мрачно вынес приговор: "Пусть еще пострадает". По счастью, он уже не все решал сам, и именно эти стихи из романа вместе с некоторыми другими вскоре были напечатаны в "Знамени".

У моего отца, как и у Пастернака, время сразу после войны было периодом разрыва с Фадеевым. Тот печатал в главных журналах статьи, где вместе с Зощенко доставалось и другим "серапионовым братьям", в том числе и моему отцу, за ранние (и лучшие) его книги. Когда блестящий актер, выпивоха и друг всех описываемых авторов Б. Ливанов помирил отца с Фадеевым (привезя для этого в Переделкино бочонок спиртного), тот с полным цинизмом пожалел о том, что это не произошло раньше: "Я бы тогда вычеркнул эти места из своих статей".

Фадеев не раз говорил, что считает отца одним из своих учителей. Он вступил в литературу немногим позже, но к тому времени проза Иванова уже получила известность. Когда по школьной программе я должен был прочитать "Разгром", я заметил сходство с читанными до того вещами отца, особенно в пристрастии к цветным эпитетам (над этой склонностью отца подсмеивался Зощенко). Я знал, как старательно подбирал их отец, тренировавший свою наблюдательность, изучавший живопись и друживший с художниками. Велико было мое изумление, когда из застольного разговора я узнал от Фадеева, что он цветов не различает. Страдая дальтонизмом, Фадеев расспрашивал других людей, какого цвета тот или иной предмет, и писал об этом с чужих слов. Мне стало казаться, что в этом разгадка его слабостей как писателя. Он писал с чужого голоса, обвиняя невинных людей и в "Молодой гвардии", и в незаконченном последнем романе, где все прототипы тоже были реальными — и обольганными. О нем он говорил, что поручение написать эту книгу ему передал Маленков. И Фадеев потом горевал о том, что в полученных им материалах на ни в чем не повинных инженеров была возведена напраслина. Но ведь до сих пор не напечатана и написанная им биография, где он славословил Ежова: сомневаюсь, что в этом случае он верил в то вранье, которое ему подсовывали.

ОТ ТОМ, что Фадеев пишет роман о молодогвардейцах, я услышал от него в общем разговоре перед конторой дачного городка, тогда помещавшейся неподалеку от его дачи у въезда в лес: мы все ходили туда звонить по телефону. Фадеев говорил, что никак не найдет для романа названия — может быть, "Краснодон". Павел Нилин, участвовавший в разговоре, предложил: "А может быть, с вывертом: У нас в Краснодоне?". Фадеев замахал на него руками: "Ну уж только не с вывертом". Меня поразило, как резко он отмахнулся от предложения избежать шаблона.

На правах соседа, чья дача была отделена от поля и леса нашим участком, Фадеев нередко проходил им, отправляясь на прогулку. Если он шел с кем-нибудь, вся окрестность оглашалась раскатами его высокого металлического искусственного смеха, пугавшего и предвещавшего недоброе, как и стальной, холодный шальной блеск его глаз. Если он был один, он звал отца к нему присоединиться. По словам отца, во время одной из таких долгих про-

Вячеслав Вс. ИВАНОВ

По соседству с Фадеевым

Прошло четыре десятилетия после его самоубийства



гулок перед войной Фадеев, заведя его далеко в тогда дикие и пустынные леса и луга под Одинцовом, поделился там с ним новостью: Мейерхольд оказался шпионом сразу двух иностранных разведок. Отец рассказал мне по этому поводу, что аресту Мейерхольда предшествовала встреча Нового года в тогдашнем Клубе писателей. Мама (давнишняя мейерхольдовская актриса) и отец встречали Новый год (для Мейерхольда последний) с Мейерхольдом. Райх и Кончаловский, тогда особенно дружившими с Мейерхольдом, уже вставшим в немилость (Кончаловский писал портрет Мейерхольда на фоне цветного ковра, восхищавший моих родителей, помню разговоры о том, как Мейерхольд дома у них читал начатые им мемуары). За столик к ним подсел Фадеев. Мейерхольд очень резко заговорил с ним о социалистическом реализме, отрицая за ним право на существование. Через несколько дней Фадеев на собрании процитировал эти крамольные высказывания Мейерхольда, начав против того кампанию, завершившуюся арестом.

Еще одна подобная история из времен террора в рассказах отца связывалась с именем Фадеева. По его словам, Мирский был арестован вскоре после того, как подверг жестокой критике роман Фадеева "Последний из удагов", тот в ответ на него написал, Мирский пытался оправдаться, но тщетно.

В одну из послевоенных зим мы были вдвоем с отцом на даче. Зашел Фадеев. Попивая с нами вишневую наливку, он рассказывал, как только что представлял Сталину список писателей — кандидатов на премию его имени. По словам Фадеева, Сталин сказал: "По политическим причинам нам приходится давать премии произведениям, в художественном отношении слабым". Федин лучше, но и он для Сталина на хроникален: "Нет той психологической глубины, что у Достоевского". Последнее тогда еще не проходили в школе и не

печатали. Сталин один мог ценить его романы. Мне вспоминается Олдос Хаксли, в антиутопии которого диктатор хранит в своем кабинете в сейфе книгу Шекспира, недоступную его подданным.

Фадееву нравилось рассказывать о Сталине. Отцу он пересказывал, как в 1939 году распределяли ордена. Сталин не велел давать орден Ленина: "Всеволод Иванов все себе на уме". Фадеев не мог дать отцу Сталинской премии, но помогал другим (например, мужу моей сестры художнику Давиду Дубинскому).

В качестве соседского сына я смог воспользоваться большой библиотекой Фадеева, когда сдавал университетский экзамен по советской литературе. Огромный кабинет наверху дачи был заставлен изданиями, преимущественно совсем новыми и не носившими следов чтения. Фадеев не был человеком образованным; позор начатого им гонения на Веселовского усугублялся его ошибкой: он спутал гениального основателя исторической поэтики с его однофамильцем, писавшим о западных влияниях на русскую литературу.

Иной раз Фадеев подвозил меня и маму на своей казенной машине в город. Обычно он ехал на заседание в Союз писателей и всю дорогу просматривал нужные бумаги и рукописи, был деловым и собранным, не в пример тому забудыге, которого иной раз мне случалось в нем увидеть ("мы погорячились" — с твердым диалектным с в конце возвратного глагола сказал он маме, придя поздно вечером с моим отцом пьяный из переделкинской забегаловки возле пруда). Однажды мама зашла по своим переводческим делам к Фадееву днем на дачу и потом попросила меня прийти за ней. У Фадеева был Твардовский, как мне показалось, совсем еще молодой. Чокнулись, выпили. Твардовский говорил о необходимости заниматься чиновничьей работой в Союзе писателей. Можно было думать, что я чокаюсь с двумя бюрократами, пьющими днем на даче.

Когда Сталин умер, оказался возможным второй съезд писателей. На него из Ленинграда приехала Ольга Форш. Она остановилась у нас на московской квартире и попросила моих родителей позвать Фадеева, ей хотелось с ним поговорить о своих изданиях и других делах. Вспоминали прежние времена. О тридцатых годах Фадеев говорил, что "слишком много ушло на жизнь", не на литературу. По разговору я понял, что его положение и обязанности начали меняться. Он интересовался репертуаром консерватории и сетовал, что стали исполнять слишком много иностранцев, Равеля и Дебюсси. Казалось, что он метит в новые жданы. Судьба рассудила иначе.

МНЕ вспоминается солнечный день снежной весны света вскоре после XX съезда и незадолго до самоубийства Фадеева (Шолохов, едва ли меньше замешанный в прославлении Сталина, только что обозвал Фадеева "восточным гопушником"). Он был в запое. Зашел к нам утром, когда мы всей семьей собирались на прогулку. Фадеев увязался с нами. С воодушевлением дорогой рассказывал о только что им прочитанной рукописи воспоминаний пианиста Гольденвейзера, восхищался старомодными людьми толстовского круга, жившими нравственными ценностями. И тут же в нем начинал говорить партийный бюрократ старой школы: книгу нельзя издавать (на самом деле и это вскоре стало возможным). Представление о запретах печатать книги у меня с детства связалось с Фадеевым: когда отец дал ему свой роман "У", тот не только отказался печатать его в "Красной нови", но и наказал никому больше не давать читать.

Когда мы вернулись с той прогулки, Фадеев оставался у нас до позднего вечера. Он пил, говорил возбужденно и безостановочно, просил меня принести "Вия" и читал сцену полета на ведьме с таким выражением, что было ясно: он сам так же летит сейчас. Просил нас позвать Корнелия Зелинского и требовал, чтобы тот описал убийство Нетте, свидетелем которого был Зелинский, ехавший в том же купе тем же поездом.

Фадеев долго и подробно рассказывал, как он поссорился с Ягодой после постановления ЦК о роспуске РАППа. Когда оно было напечатано, они с Луговским несколько дней были в мрачности, не выходили из дома, готовились к худшему. Фадеев написал в газету письмо с признанием своих ошибок. Внезапный звонок: Ягода приглашает к себе на дачу. Присылает за ними машину. Они обрадовались, поехали. Ягода почти сразу же позвал Фадеева одного играть в бильярд. Когда они вошли в бильярдную, Ягода стал выговаривать ему: как он мог предать товарищей по РАППу. Фадеев был испуган: его ругает всемогущий глава самого страшного учреждения. Какой выход? Сделать скандал публичным. Он начинает громко кричать: "Как вы можете, старый большевик, подговаривать меня не соглашаться с постановлением Центрального Комитета?" На крик Фадеева сбегаются другие гопушники. Разругавшись с Ягодой, он уходит пешком с его дачи вдвоем с Луговским. Они опять в мрачности. Что может сделать с ними Ягода? И как сейчас им добраться до города? Тут с ними повстрелилась машина. В ней заместитель Ягоды Прокофьев (потом все действующие лица — гопушники расстреляны). "Вам в город? Хотите подвезу?" В городе Фадеев продолжает пребывать в панике. Ягода может предпринять против него что угодно. Надо его опередить. Он решает написать письмо в ЦК с изложением обстоятельств их ссоры. Относит его по назначению в экспедицию ЦК. Прошло несколько лет. Ягodu арестовали. Фадеева вызывают и просят написать по форме как его показания против

Ягоды то, что тогда он рассказал в письме в ЦК. Вместо Ягоды наркомом назначают Ежова. Фадееву велят писать о нем книгу. Она набрана. Но ее набор рассыпан: Ежов арестован.

1939 год, декабрь. Юбилей Сталина в Большом театре. Фадеев за столом президиума среди членов Политбюро. Один из них (то ли Ворошилов, то ли Молотов) к нему подсаживается. Он объясняет Фадееву, как того ценит товарищ Сталин. "Вы же стали на нашу сторону тогда, в самом начале, когда никто еще не знал, чем кончится борьба". В статьях, где я доказываю, что Сталин убил Горького, я связываю рассказ Фадеева с реальной борьбой за власть в те годы. Она и привела Фадеева к его единовластному правлению в литературе.

Я ПОСТАРАЛСЯ пересказать как можно короче содержание многочасовой мучительной исповеди Фадеева. Меня поразило то, что именно эта история его тяготила всего больше. Он сильнее других своих грехов или преступлений мучился своим предательством и доносом по отношению к Ягоде — главному гопушнику, хотя Фадеев был виноват перед многими куда более достойными. В деле ленинградского поэта Спасского (близкого знакомого Пастернака) была телеграмма Фадеева, санкционировавшая его арест. По правилам тех лет руководитель учреждения должен был давать такую санкцию. Вероятно, Фадеев делал это не раз. Мы знаем, что он и хлопотал потом об освобождении некоторых (в частности, Заболоцкого). Но никто не вправе подводить баланс.

Фадеев изумлял нестандартностью — исчезновениями из дому надолго, запоями (в том числе и в начале войны, когда он не стал исполнять своих обязанностей вновь назначенного председателя Совинформбюро). Нестандартна была и его расправа с самим собой. В стране, так и не дождавшейся нюрнбергского суда и обречшей себя тем самым на вечную боязнь возвращения тоталитарного коммунистического режима, Фадеев один из всей околосталинской верхушки судил себя и сам себя расстрелял.

Последний раз я видел его дня за два до самоубийства. Я встретил его на лесной дорожке, и мы с ним разговаривали несколько минут. Он вышел из запоя и был совершенно трезв вопреки тому, что писали потом газеты.

В воскресные утром я занимался в комнате, окна которой выходили в лес, в сторону дачи Фадеева. Я услышал звук выстрела. Отец и Федин одновременно прибежали на дачу, где наверху в его кабинете нашли его мертвым: раздетый до трусов, он лежал в постели, рядом был револьвер и письмо в ЦК, недавно напечатанное и поражающее ограниченностью кругозора.

Ночью отец стоял у гроба в почетном карауле. В комнате почетного караула к нему подошел Жуков, с которым они были знакомы по времени "призвятия Берлина" (так назывался роман отца, в одной из глав которого описан Жуков). Жуков был оживлен и бодр, сев на подоконник, болтал ногами. Отец перевел разговор на самоубийство Фадеева. Жуков отозвался спокойно: бывают потери. Для него это была одна из неизбежных потерь в той борьбе с памятью Сталина, которую он тогда вел еще заодно с Хрущевым.

На похоронах меня поразило упоминание взятия Кронштадта, в котором Фадеев участвовал. Он рано связал себя с режимом и партией, с их преступлениями. Люди того поколения — стук истории, она отпечатана на них и их судьбах. Но Фадеев был не только палачом, как многие в верхушке партии. Он был и жертвой.